

ПЯТЬ ВИНЬЕТОК ¹

Гальциона

Интертексты дошли до меня не сразу. В семиотическом истеблишменте о них заговорили еще в 60-е годы, когда нас со Щегловым занимало порождение отдельного текста (и системы мотивов) одного автора. Я долго не принимал Бахтина и недооценивал интертекстуальные работы Тынянова. А над любителями цитатности посмеивался как над представителями особой «остзейской» школы, имея в виду прибалтийское расположение Тарту, где группировались Левинтон и Тименчик, а также рижское происхождение последнего и эстляндское — К. Ф. Тарановского (отец которого был до революции ректором Дерптского университета).

Прозрел я уже на Западе. В академическом плане сыграло роль знакомство с теориями Блума и Риффатерра — современными вариантами формалистского учения о пародии и литературной эволюции. А житейски сказались автомобильные поездки по Европе, пресловутые камни которой проинтертекстуализованы до предела.

Обратившись, я по-неофитски бросился в другую крайность — стал видеть подтексты повсюду и с энтузиазмом настаивать на их программности. (Недавно Щеглов передал мне слова М. Л. Гаспарова: «Если Александр Константинович решит что-нибудь связать, то можно не сомневаться, — свяжет».) Василия Аксенова я так замучил выявлением у него неизвестных ему самому подтекстов (в частности, из бабелевской виньетки о Казанцеве, знавшем все замки в Испании, ср. Дрожжинина с его Халигалией в «Затоваренной бочкотаре»), что однажды он не выдержал и дал мне сдачи. Он спросил, читал ли я «Ожог», и если да, то не оттуда ли почерпнул некоторые свои идеи

¹ Эти виньетки порознь уже печатались; здесь они впервые собраны в единую серию, посвященную памяти М. Л. Гаспарова.

о Зощенко. Заглянув в соответствующую главу романа, я обнаружил там обещанный подтекст, на который, как честный офицер, и сослался при следующей оказии.

Но совершенно хрестоматийный урок такого рода преподнесла мне сама Жизнь — в своей роли Тотального Текста.

В сентябре 85-го года мы с Ольгой путешествовали по Испании. Маршрут был проложен на высоком культурном уровне: Барселона — Гранада — Толедо — Сан-Себастьян; в конце пути намечался Париж. Помимо очевидных Сервантеса, Эль Греко, Гауди, Дали, мавров, Карла V («римского императора», который столь металингвистически «говаривал» в учебнике родной речи) и проч., над автопробегом витали Ильф и Петров и Хемингуэй. Словом, в интертекстуальном фоне недостатка не было.

Но оставалось как будто место и для нехитрых речей практического ряда. В какой-то момент Ольга, теплолюбивая калифорнийка, стала с беспокойством приглядываться к появившемуся на горизонте облачку, опасаясь дождя и кутаясь в приготовленный на этот случай плащ. Решительно подавив в себе школьные реминисценции из «Капитанской дочки», я ответил, что это пустяки, здесь тепло и хорошо, но едем мы, действительно, на север, дело идет к осени, и неизвестно, какая погода в Париже, где нас могут ожидать холод, ветер и дождь.

Прошло, наверно, полчаса, прежде чем я сообразил, что я сказал. Почти слово в слово я подал знаменитую реплику Лауры из «Каменного гостя»:

Приди — открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет [.....]
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует. —
А нам какое дело?..

Надо сказать, я не только знал этот пассаж, но и читал разнообразные комментарии к нему пушкинистов и даже сам писал о нем. Так что особый российский кайф по поводу северности Парижа при взгляде из Испании был мной давно

отрефлексирован. И хотя я мог поклясться, что говорил в простоте душевной, тут-то, как сказал бы Зощенко, он, интертекст, и подтвердился. (Как подтвердился и О. Бендер: «Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье...»... И только на рассвете... вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин!»)

Подавленный, но и польщенный пожатьем каменной десницы Гипертекста, я с ближайшей же бензоколонки отправил М. Л. Гаспарову (в холодную, еще не тронутую перестройкой России) короткий отчет о случившемся. В ответ я по истечении времени получил цветную открытку: изображение незнакомой большоголовой птицы с мощным клювом и пышным хохолком, как гласила подпись, — зимородка. Следовала приписка от руки: «За кораблем виляла Гальциона...»

Это была строчка из «Тени друга» Батюшкова, и таким образом я нарекался «другом», причем покойным, являющимся во сне. В этой посмертности не было, впрочем, ничего макабрического. В 85-м году все еще оставалась в силе формулировка того же Бендера: «Заграница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается», обыгрывающая известную гамлетовскую. Дополнительную связность диалогу придавали батюшковские упоминания о ночи, страже, севере и погодных условиях, воспринимаемых одновременно с южной, древнесредиземноморской, точки зрения (на Англию как на «туманный Альбион») и с русской, нордической (на север как на нечто «любезное»):

Я берег покидал туманный Альбиона;
Казалось, он в волнах свинцовых утопал,
За кораблем виляла Гальциона,
И тихий глас ее певцов увеселял [...]
И кормчего на палубе зыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал...

Батюшковский эпиграф из Проперция (о душах усопших, ускользящих от смерти, победив костер) являл сигнатуру

Гаспарова как античника, но меня больше заинтересовала Гальциона. В примечаниях к одному изданию Батюшкова она толковалась попросту как «чайка», а к другому — несколько богаче, но тоже уклончиво: «Здесь — чайка, по имени женщины, согласно мифу, превращенной в морскую птицу, чтоб сопровождать утонувшего мужа». Миф имелся в виду греческий и к тому же разработанный Овидием («Метаморфозы», XI, 410–748): об Алкионе, одной из нескольких в мифологическом репертуаре, а именно — дочери Эола и жене/вдове потерпевшего кораблекрушение Кеика. (Ее тетка, другая Алкиона/Ал(ь)циона, дочь Атланта и океаниды Плейоны, стала возлюбленной Посейдона, а потом вместе с сестрами образовала созвездие Плеяд).

Как далее выяснилось, дезориентирующее «Г» (латинское H) в начале ее имени, по-видимому, возникло (в духе тыняновского Кижэ) из смешения значков для разных типов придыхания (в моем греческо-английском словаре прямо сказано: «*halcyon* with h is a wrong form»). Оно проникло в латынь и европейские языки и присутствует как в названии соответствующей птицы (лат. *halcyon* = *alcyon* = *alcedo* = англ. *halcyon* = *kingfisher* = рус. *зимородок*), так и в выражении *halcyon days*, «безмятежные дни» (греч. *halcyonides*), связанном с античным же представлением, что штиль, устанавливающийся на море на две недели вокруг дня зимнего солнцестояния (то есть, как раз сейчас, когда я пишу это в солнечной предновогодней Санта-Монике и океан действительно тих), объясняется тем, что боги даруют его зимородку, который — в согласии со своим русским наименованием — именно в это зимнее время выводит птенцов. Ср. у Овидия:

...Наконец пожалели их боги, и оба

В птиц превратились они; меж ними такой же осталась,
Року покорна, любовь; у птиц не расторгся их прежний
Брачный союз; сочетают тела и детей производят.
Зимней порою семь дней безмятежных сидит Алкиона
Смирно на яйцах в гнезде, над волнами витающем моря.
По морю путь безопасен тогда: сторожит свои ветры,
Не выпуская, Эол, предоставивши море внучатам.

(пер. С. Шервинского).

В истории этой метаморфозы обнаруживается и второй важный подтекст к «Тени друга» — эпизод с Морфеем, т. е. Сновидением, являющимся Алкионе в облике покойного мужа. (*Морфей*, специально изобретенный на этот случай Овидием и эмблематизирующий идею «мета-морфоз», то есть, выражаясь по-современному, *morphing'a*, дал, кстати, название *морфию*; а именем *halcyon* в смысле «богоданного покоя» названо американское снотворное.)

Овидиевские подтексты Батюшкова и, значит, гаспаровской открытки могли, в свою очередь, отсылать к статьям самого М. Л. о первом великом поэте-изгнаннике, в частности — к книге «Скорбные элегии. Письма с Понта» (М.: Литературные памятники, 1978) с его комментариями и переводами. Ее экземпляр он подарил мне перед моим отъездом в эмиграцию, снабдив посвящением в форме элегического дистиха:

Знал над стихами Назон, что на Понте он пишет для Рима;
Ныне где Понт и где Рим — сам не ответит Эдип.
(23/X — 78)

Сходится, однако, не все. Зимородок — не чайка (а реальный зимородок гнезд вообще не вьет: он кладет яйца в прибрежные ямки), Испания — не Альбион, Эдипу не было дела до Рима, Батюшков отплыл из Англии (в Швецию) не в конце декабря, а в июне (1814 г.), да и «Г» — лишнее... Кстати, от этого «Г» зависит толкование имени Гальционы/Алкионы в качестве то ли «морской гончей» (*hal-cyon*), ошибочное, то ли «охранительницы, стражницы» (*alcy-one*), правильное; между прочим, мотив «стражи» есть и в «Тени друга», и в реплике Лауры, а также в моем имени, означающем «охранитель мужей» (*alexo + andr-*) и таким образом отчасти родственном Алкионе.

Что касается разницы между зимородком и чайкой, то у Овидия Кеик и Алкиона превращаются богами просто в неопределенных «птиц». Различие удобно смазывается также употреблением обобщенного единственного числа, одного на двоих: *ambo alite mutantur*, букв. «оба превращаются в птицу». По другим источникам, оба становятся зимородками. Наконец, согласно третьим, Алкиона обращается в зимородка, а Кеик — в чайку, что соответствует греческому значению его

имени (*Сеух* = «морская чайка»; но заманчивая этимология *чайка* < *кеук-s*, к сожалению, некорректна: оба слова имеют звукоподражательное происхождение, но каждый свое; как сообщает запрошенный по электронной почте Старостин, греческому *кеук*- соответствует в русском не *чайка*, а... *сова*). Союз чайки с зимородком создает серьезные проблемы межвидового скрещивания, каковые, впрочем, лишь контрастно оттеняют преодолевающую все преграды силу любви (ведь и наказаны-то богами Алкиона и Кеик были, по одной из версий, за переоценку своей любви — за то, что называли друг друга Герой и Зевсом), ну и, конечно, могущество богов.

Все это и многое другое обильно комментируется в литературе. И все вроде бы примиряется Пушкиным (инкогнито — так сказать, во сне — явившимся мне недалеке от Гвадалквивира). «Пушкин, — сообщает комментатор Батюшкова, — заметил об этой элегии: “Прелесть и совершенство — какая гармония”».

Пушкиным же неожиданно гармонируется и один не вполне разрешенный в нашей с Ямпольским книге о Бабеле вопрос — о названии издательства («Альциона»), которым владел муж героини «Гюи де Мопассана» Бендерский. Бабель, по-видимому, пародировал, с утрированным еврейским налетом (*Аль-Цион* = др.-евр. «на Сион, в Иерусалим»), название символистского издательства «Алконост», принадлежавшего еврею Самуилу Алянскому. Это тем более вероятно, что слово *алконост* — не что иное, как искажение старинного русского речения «алкион есть птица», где *алкион* — все тот же зимородок. Но, метя в одну алкиону, Бабель вольно или невольно попал в другую. Подобно Бендеру (с его «Чудным мгновеньем»), Бендерский повторил уже бывшее в русской литературной традиции название альманаха, издававшегося в начале 1830-х годов бароном Розеном и названного по имени самой яркой звезды созвездия Плеяд, то есть, «другой» Алкионы. В «Альционе» печатались поэты пушкинского круга и сам Пушкин (в частности, там в 1832 году — ровно за сто лет до «Гюи де Мопассана» — появился «Пир во время чумы»), но не Батюшков, к тому времени замолкший. Впрочем, было издательство «Альциона» и в 1910-е годы, так что Бабель, возможно, вообще ничего не придумал, и вся проблема не стоит выеденного яйца.

А возможно, что М. Л. Гаспаров просто намекнул мне, что ездить надо меньше, а читать больше. (Еще в 88-м он писал мне, что отказался ехать на мандельштамовскую конференцию в Бари, ибо «слишком привык к железному занавесу и потому не ездук».) Или вообще спутал меня со Щегловым, писавшим о «Метаморфозах» всерьез. Упомянул же он как-то в разговоре со мной о некоем мифическом «Щегловском». Не этому ли птицевидному гибриду был адресован назонистый зимородок на открытке?

Интертексты умеют много гитик.

Совершитель Гаспаров

Мне довелось встречаться с учеными высшей пробы: Шкловским, Проппом, Якобсоном, Тарановским, Лотманом, Пермяковым, Бремоном, Риффатерром, де Маном, Колмогоровым, Гельфандом, Хоффманном, Зализняком, Старостиным, быть сыном Мазеля, работать с Мельчуком и Щегловым. С Михаилом Леоновичем Гаспаровым (*далее* — М. Л.) я был знаком довольно хорошо, хотя и не так коротко, как некоторые другие (которые, именно поэтому, боюсь, ничего не напишут).

Он умер в зените успеха — и по масштабам достигнутого, и по уровню признания. Неизлечимо больной, он продолжал работать и, живи дольше, не снизил бы темпа; но по любой человеческой мерке и так сделал достаточно. Памятником этому титаническому труду остаются книги, которые уже давно начали переиздаваться. К ним обращаешься постоянно, — они служат фундаментом и укором, толкая к изучению, применению и вообще работе. Неловко требовать большего.

Не пытаясь охватить здесь значение его наследия, я хотел бы рассказать, каким я его знал и чем он был для меня лично. Я позволял себе писать о нем при его жизни, в статьях и вишнетках, и мечтал бы, чтобы так было всегда. Увы! Подумать, что мне случилось познакомиться его со Старостиным (в автобусе по дороге к Сереже я встретил М. Л.; они оказались соседями, от Старостиных мы позвонили М. Л., он охотно зашел, он вовсе не был нелюдимым), а сегодня нет их обоих!

Повторяю, отношения не были особенно близкими. До эмиграции я у него не бывал, но он регулярно приходил на Метро-строевскую (Остоженку) на Семинар по поэтике (1976–1979),

а много лет спустя как-то зашел к нам с папой на Маяковскую. Он несколько раз был у меня в Санта-Монике и потом принимал меня в последней своей квартире на Ленинском. В основном же мы виделись у общих друзей и на научных заседаниях (в Москве, в Штатах и снова в Москве), а перезванивались и переписывались, главным образом, по поводу моих работ, которые я отдавал ему на суд и к которым он для пользы науки щедро придирался.

Я храню его письма — мелким убористым почерком и густой, через один интервал, на двух сторонах листа, машинописью (наверно, пора подумать об их публикации). В одном, по поводу работы об Окуджаве и сомнений коллег, заслуживает ли он исследования, — скромная паче гордости мысль, что внимание к второстепенным поэтам окупится, если потомки не забудут нас, третьестепенных литературоведов. В другом, по поводу моих попыток психоанализировать Эйзенштейна, — предупреждение, что тогда от аналогичного подхода не застрахован и его исследователь. В нескольких (электронных и рукописных, в том числе из последней больницы) — заботливые метрические разъяснения, указания подтекстов и семантических ореолов. В связи с моей попыткой заняться 85-м стихотворением Катулла («Odi et amo...») — поощрение к работе, переписанные от руки неизвестные мне русские переводы и подсказка термина (ропаллический стих) для замеченного мной удлинения глаголов от начала к концу (Статью я забросил, и он мне несколько раз напоминал, что доделать надо). В ответ на возбужденный звонок из Санта-Моники об идее инфинитивной поэзии — удовлетворение, что семантические ореолы распространяемы на синтаксис.

Ничего этого уже не будет. Как не будет перед глазами примера уникального трудолюбия, на который я оглядывался в периоды лени и нелюбопытства, говоря себе, вот ты уклоняешься от работы, вспомни М. Л. Стыдно было и невежества, особенно при встречах, хотя сам М. Л. в своей просветительской роли держался с предельным тактом, во весь рост не выпрямлялся и справки давал исчерпывающе детальные, а не по-авгурски загадочные.

Впервые я увидел его полвека назад. Один из, наверно, уже немногих, я помню его высоким, крепко сложенным, даже полноватым, с густыми волосами — рыжевато-каштановыми, расчесанными на пробор. Я был на 1-м курсе, он, следовательно,

на 3-м. Познакомился с ним не я, а Юра Щеглов, — кажется, на лекциях С. М. Бонди, которого помню только издали (Юра говорил, что, когда мел крошился, Бонди с наигранной капризностью требовал принести другой, лучший: «Принесите мне чехословацкий мел!» Дальше Чехословакии тогдашние мечты о хорошей жизни не простирались).

Кажется, настоящее знакомство началось с того, что однажды в коридоре Иняза я осмелился попросить оттиск статьи о баснях Эзопа (1968) — и вскоре получил его (он надписал: «...с неожиданностью...»). Эту работу я ценю особо, как ранний вклад в теорию инвариантов, причем тематических, и всегда включаю в соответствующие курсы, рядом с пропповской «Морфологией» и якобсоновской «Статуйей».

Немного ближе мы сошлись в начале 70-х, в рамках полуофициального инязовского Семинара по структурной поэтике, основанного М. Г. Тарлинской с соизволения И. Р. Гальперина (of all people), и там вспоминается доклад Джеймса Бейли на какую-то очень специальную тему (по английскому дольнику), а в прениях — выступление, практически содоклад, М. Л., у которого нашлись собственные, отличные от бейлиевских, подсчеты на том же материале. В силу своей некоторой американскости (а отнюдь не контраргументов М. Л.) и ввиду отъезда в Израиль одного из активных участников Семинара, Д. М. Сегала, этот доклад оказался в Инязе последним, после чего Семинар некоторое время просуществовал в Институте Русского Языка, под эгидой В. Д. Левина, и там последним стал уже мой доклад об окне у Пастернака, в ходе которого М. Л. и Марина Тарлинская что-то громким шопотом обсуждали и подсчитывали — оказалось, сравнительную частоту метонимий и метафор у Пастернака, — чтобы опровергнуть трактовку Якобсоном пастернаковской поэтики как основанной на смежности. Так или иначе, Семинар был из ИРЯ выдворен, В. Д. Левин уехал опять-таки в Израиль, а Семинар, уже на совершенно птичьих правах, перебазировался ко мне домой, где продержался три года, до моего отъезда тоже как бы в Израиль, а в действительности в Штаты, и тогда перебрался к Мелетинским.

Об этом Семинаре уже писалось (в том числе М. Л. и мной), здесь коснусь только археологического (в смысле Фуко) вопроса, почему, с одной стороны, он был гоним, а с другой,

не разгромлен. Тонима была как сама полудиссидентская семиотика, так и ее ненадежные представители, норовившие свалить за рубеж. Формулой выживания, особенно на домашних, то есть, в сущности, антиобщественных началах, было четкое отделение поэтики от политики. По молчаливому уговору, стихи разбирались, в том числе полузаконные (Мандельштам, Цветаева), чуждые теории обсуждались, в том числе американские (Якобсон, Риффатерр, Лаферрьер, Каллер), иностранцы приглашались, в том числе буржуазные (Тарановский, Эд Браун), а «Хроника», КГБ, подписанты — не поминались. Но однажды это хрупкое равновесие было нарушено.

Мы собирались вечером, доклад мог длиться и час, и два, и только потом подавался чай с вареньем и кексом (из «Праги», с изюмом, длинный, мы называли его «рыба»). Чаепитие уже началось, когда в дверь позвонили. Это оказался Игорь Мельчук, с портфелем и двумя рюкзаками, — он был рядом и решил что-то занести для нашей завтрашней работы. Мельчука, гениального лингвиста, пламенного диссидента и заклятого врага гуманитарных печек-лавочек, я с Семинаром никак не смешивал. Он понимал, что явился не в свой день, но не пустить его дальше передней было бы некрасиво, и я пригласил его к столу. Его, конечно, все знали, он же, великодушно оставляя в стороне поэтику, с места в карьер заговорил о политике, арестах, Буковском, — не замечая, что все примолкли. Выговорившись и напившись чаю, он поднялся из-за стола с туристским: «Ну что, народы, по домам?!» Я попросил его не разгонять моих гостей, проводил и вернулся в гостиную извиняться. Но «народы» (Ю. И. Левин, Е. М. Мелетинский, Т. М. Николаева, О. С. Седакова, И. М. Семенко, Ю. К. Щеглов и другие) уже оттаивали и разговор возвращался в безопасную колею, когда раздался заикающийся голос М. Л.: «А кто такой Буковский?» (Сегодня так прозвучало бы: «Кто такой Ходорковский?»)

Это было сказано с безукоризненной наивностью, вполне в образе чудака-ученого не от мира сего, но задним числом может быть прочитано с аналитическим акцентом не на «наивности», а на жизни «в образе». М. Л. не был прост, — не оскорбим его памяти этой банальностью.

С легкой руки Пастернака (его слов о Рильке) в наш обиход, в частности, винюсь, мой, вошли слова о том, что нас читают

на небе. И не только читают, нам оттуда еще и пишут. Внимание богов лестно, с ними приятно быть накоротке, и мы тем охотнее обожествляем своих корреспондентов. Наши игры понятны. Что касается богов, то ими, по известной формулировке, быть трудно, — потому что дело-то человеческое, слишком человеческое. Особенно, когда делается оно в неблагоприятных условиях. Отдать должное этому реальному труду, на мой взгляд, важнее, чем законопатить его в упрощающем коконе легенды.

Секрет «простого» образа М. Л., рассчитанного на выживание и успех в советском, да и в любом человеческом обществе, состоял в «нестрашности». Великий эрудит, знаток мировой (в том числе легендарной античной) культуры и истории, многих языков, статистических методов и, добавлю, человеческой природы (по прочтении «Записей и выписок» в этом не приходится сомневаться), не выглядел угрожающе благодаря своей отрешенно академической внешности, заиканию, предупредительным манерам, да и «неактуальности» занятий — античной древностью и стиховедческими подсчетами. Для филолога-классика работа в ИМЛИ, занятом досье на российских и западных писателей и поддержанием идейно-политической амуниции в боевой готовности на случай выезда членов ЦК в соответствующие страны, была неплохим убежищем: государственные визиты в Древнюю Грецию и Рим оставались редкостью.

Но именно убежищем. Сколь трезво смотрел М. Л. (вместе со своим постоянным собеседником Аверинцевым) на политическую конъюнктуру, хорошо видно из тех же «Записей». И с наступлением новых, более свободных времен он из ИМЛИ ушел. Помню, что я был поражен, услышав об этом от него самого. Он пояснил, что «как античник давно деквалифицировался». Для меня и это прозвучало невероятно, но в общей ретроспективе поддается сегодня осмыслению. С одной стороны, отпала необходимость прятаться, — вскоре стало можно публично комментировать Мандельштама, в том числе его гражданскую лирику 1937 года. С другой, широко открылись непосредственные контакты с Западом, и его роль медиатора между мировой классической филологией и российской культурой потеряла исключительность. В целом, с М. Л. произошло в каком-то смысле то же, что со многими филологами-нерусистами (назову Аверинцева, Либермана, Щеглова), которые, выехав на Запад,

с удвоенным вниманием обратились к всегда исподволь занимавшей их русской тематике. На службу этому финальному «обрусению» М. Л., разумеется, поставил и все то, что ранее приобрел в занятиях античностью и переводами.

Не будучи вседержителем, М. Л. не был и кенотически благостным «исусиком», или, ближе к античности, набоковским «сократиком». Даже и «сокращаясь» (из деликатности, по необходимости, иногда с иезуитским самоуничижением), он оставался трезвым, бескомпромиссным, полемически острым носителем выношенной им научной правоты — во многом сродни структурно-позитивистскому пафосу своего поколения. В моем опыте это был как бы еще один Мельчук, но не энтузиастично-конфликтно открытый миру и потому вынужденный эмигрировать, а изощренный, ироничный, житейски мудрый и потому сумевший «через все ваши революции сохраниться» (Зошенко), чтобы стать пророком в своем отечестве.

Он решительно отвергал постструктурализм («критику как самоцель») и при первой же встрече на Западе стал с пристрастием допрашивать меня, каким таким возможным собственным недопониманием я позволяю себе извинять его пагубные притязания. И он же убийственно деконструировал Бахтина, точно указав его место под солнцем 20-х годов. Помимо претензий на диалог с классиками, в Бахтине его раздражал непрофессионализм античника. Тот же упрек предъявлял он и Ольге Фрейденберг, — не забуду страстную демифологизацию ее работ и имиджа (я удивился, потому что был в свое время пленен «Поэтикой сюжета и жанра»), излитую в pendant к моему ахматовоборчеству. Он с холодной усмешкой настаивал на запрете «читать в душе у автора» (напоминая мне Мельчука, старательно проводившего границу лингвистики ровно там, где кончались его интересы, и потому, например, оставлявшего за ее пределами прагматику). На моей памяти он сурово оценил нескольких коллег, а в одном случае просто отмахнулся («Что я, докладов Х-а что ли не слышал?!»). Я внутренне содрогнулся, вспомнив, что он говорил мне в лицо («Собранные в книжку, Ваши рассказы проигрывают, потому что недостаточно различны») и что мне передавали («Александр Константинович, если решит что-то связать, то не беспокойтесь, свяжет»). Я уж не говорю о его ядовитых не-ответах «Медведю». Он был согласен нравиться, но не любой ценой.

Он щедро объявил Томашевского зачинателем, а Тарановского завершителем (у Пушкина — *Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершителем Кутузов*) научной теории стиха, сознавая, конечно, что настоящий завершитель — он сам, и история поставит все на свое место. Тарановского (наряду с Брюсовым и Б. И. Ярхо) он, насколько понимаю, числил на своем научном небе, и много сил вложил в издание его работ в России, но его основоположную статью по теории семантических ореолов (о 5-ст. хорее) с полным пиететом пересмотрел, превзошел и практически отменил (как классический синтез превосходит и отменяет романтические прозрения).

Он проповедовал — и, повидимому, исповедовал — великую скромность, заботясь не преувеличить возможностей человека вообще и исследователя в частности (об этом много в «Записях»), и своим примером показал, сколь продуктивной может быть такая позиция.

Поистине, Кутузов.

Liberté

В «Письмах к Марии-Луизе Ботт» («НЛО», 77) М. Л. Гаспаров несколько раз настойчиво возвращается — иногда в одних и тех же выражениях — к своей излюбленной мысли (она есть и в «Записях и выписках») об ограниченности человеческой свободы.

В свободу, пожалуй, я не верю — точнее, верю в свободу человека принимать на себя ответственность за несвободный поступок. Как в «Царе Эдипе»: ни один его поступок не был свободным, все были предопределены, но когда он признает свою вину за них и наказывает себя, это уже свободный его поступок. В частности, это значит: я не имею права осуждать никого другого за такой-то поступок, потому что у него была (пусть скрытая от него) объективная причина, а у той причины — своя причина, и так далее... А делать выбор в жизни нам приходится на каждом шагу, и это всегда выбор между «хорошим» и «привычным»; «привычное» — это тот стереотип, который сложился в нас с детства, а «хорошее» — то, как мы хотели бы его изменить... Иногда говорят: он виноват, потому что, зная предсказание «убьешь отца», он должен был воздержаться от

убийства кого бы то ни было. Так вот, говорящие это забывают: в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убив. В лучшем случае — в сражении, в худшем — в такой нечаянной схватке, как Эдип (с. 158–159).

Последний поступок Эдипа, конечно, самый поразительный, но свободный ли?

Поразителен он потому, что герой сам себя наказывает и приносит себя в жертву для блага людей. Более того, это мета-поступок — поступок по поводу предыдущих. А приводит к нему тоже поразительная линия публичного самоанализа, недаром этот сюжет так полюбился Фрейдю. В ходе следствия Эдип узнает новое о себе, своем прошлом и даже настоящем, так что соблюдается основное табу детективного жанра (кстати, нарушенное в одном романе Агаты Кристи): если рассказчик (здесь — Эдип в роли следователя) знает, кто преступник, он не имеет права скрывать этого.

Однако испытания на свободу воли Эдип по ригористической гаспаровской мерке, боюсь, не выдерживает. Хотя это и мета-поступок, и притом «хороший» (что для Гаспарова важно), это все-таки поступок, и как таковой он подлжит законам причинности. Просто в случае мета-поступков работает мета-причинность, зависимость от соответствующих мета-факторов — моральных норм, кодов поведения, жизнетворческих сценариев. Собственно, трагедия Эдипа не была бы трагедией, если бы она не строилась на непримиримом конфликте взаимно противоположных, но внутренне неукоснительных справедливостей.

Что делает финальный поступок Эдипа не только неожиданным, но и неизбежным? Конечно, его готовность последовать логике справедливости — выполнить обещание не только найти, но и наказать виновного, то есть, его желание быть «хорошим». Решение замечательное, но не свободное. Если на то пошло, более свободным, хотя и не «хорошим», был бы, наверно, своевольный отказ от принятых обязательств. Этот аргумент можно развивать в направлении экзистенциалистского *geste gratuit* (восходящего к «капризу» человека из подполья), но пока останемся в более традиционных рамках.

Вспомним, как рассуждает в полемике с марксистом Ливерием Юрий Живаго. На его морально-политические прописи

он отвечает: «Я скажу 'а' и не скажу 'б'», подрывая именно ту формулу и расстановку оценок, которые Гаспаров принимает за данные. На стороне Ливерия и «привычное», и «хорошее» (доктор должен лечить больных партизан), но не «свободное» (тут иронически обыгрывается его революционное, но сниженное до ливреи и ливерной колбасы имя), Живаго же (в согласии со своей фамилией) выбирает свободу быть живым — *живым и только*.

В фильме Росселини «Генерал делла Ровере» (1959) фашистский комендант заставляет мелкого жулика (Витторио де Сика) выдать себя в тюрьме за убитого вождя Сопротивления (1944 г.) генерала делла Ровере, чтобы через него раскрыть тайную организацию партизан. Тот цинично берется за эту роль, но постепенно проникается ею настолько, что в конце концов предпочитает погибнуть героем — в глазах тюремщиков, партизан и своих собственных. Свободы тут гораздо больше, чем в решении Эдипа, ибо ответственность самозванец принимает не за себя, а за другого, но и эта свобода имеет свою — очень сценичную — логику, то есть, подвластна мета-причинности. Он действует в предлагаемых обстоятельствах, по законам своей психологии и в духе масок *commedia dell'arte*, по-своему преломленном в фильме.

Этим фанфароном, на наших глазах превращающимся — по законам жанра — в героя, мы охотно, хотя и несколько отстраненно, любуемся. Его гротескным двойником оказывается в последние годы своей жизни Горький. Побуждаемый агентами Сталина вернуться с Капри в СССР, он опасается прямого насилия, лишения советских тиражей и гонораров, а главное, как он признается Ходасевичу, потери статуса пролетарского писателя, в образе — маске — которого работал всю жизнь. Поддаваясь этому тройственному шантажу, то есть, делая выбор в пользу мощно оркестрованного «привычного», поступает ли он «хорошо»? Вопрос открытый: с одной стороны, в СССР Горький смог в какой-то мере действовать в защиту культуры и ее деятелей, с другой — ему пришлось платить за это поддержкой преступного режима. Но «свободным» его решение никак не назовешь, и посмертно прославлен он был не как герой сопротивления, а как буревестник сталинизма.

В одном из своих «Непопулярных эссе» («О скрытых мотивах философии»), Бертран Рассел пишет, что Декарт, начав с предельно честного минималистского *Cogito ergo sum*, вскоре изменяет себе и протаскивает в свое «Рассуждение» Бога. В человеке с такими логическими способностями, как у Декарта, ложная аргументация выдает искажающее воздействие желания. Психологический силлогизм Декарта, иронизирует Рассел, таков:

Нет Бога — нет и геометрии (то есть, мне не позволят ей заниматься).

Но геометрия восхитительна (delicious).

Ergo, Бог есть.

В переводе на современный язык, надо быть «хорошим».

Трудно заподозрить Гаспарова в нехватке логики. Легче объяснить его софизм неготовностью к полной скептической безнадеге, во всяком случае, к ее публичному приятию. Ему хочется оставить себе и людям веру хоть во что-то «хорошее». Но сам этот шаг, если и «хороший», то все-таки скорее «привычный», чем «свободный».

Да и откуда взяться свободе, если, по другой любимой формулировке Гаспарова, человек — лишь точка пересечения социальных отношений?! Несовместимость, точнее, принципиальную негарантированность совместимости разных якобы «универсальных» позитивных ценностей — разных видов «хорошего» (свободы и порядка, свободы и равенства, свободы и добра) подчеркивал, развивая Гердера, Исайя Берлин.

P. S. В пользу моей деконструкции говорит и следующий пассаж из «Записей и выписок»:

[Это] напоминает мою любимую сомалийскую сказку из статьи Жолковского... [П]лемя послало жреца гадать... навстречу выползла змея и сказала: «Будет засуха, запасайте еду». Запасли, выжили; жрец пошел с подарками благодарить змею, но... раздумал... На второй год змея сказала: «Будет война, собирайтесь с силами». Собрались, победили; жрец пошел благодарить змею, но передумал и [напал на нее]...; змея скрылась. На третий год

змея сказала: «Будет большой урожай, готовьтесь к сбору». Приготовились, собрали; жрец пошел с тройными подарками благодарить и просить прощения. Но змея сказала: «Прошлого — не вина, а щедрость — не заслуга. Было бесхлебье — и ты пожалел мне корма. Была война — и ты хотел меня убить. Теперь всего много — и ты несешь мне подарки. Каково время, таковы и мы» (с. 117).

Об этой сказке М. Л. вспоминал неоднократно, — не потому ли, что она не оставляет простора для истолкования «хорошего» финального поступка как свободного? Впрочем, в первой же его записи («А») читаем:

«Если ты сказал А и видишь, что ошибся, то говорить Б не обязательно», — говорит персонаж у Брехта... Не надо делать культа даже из верности самому себе (с. 7).

Уважительные причины

В кулуарах иерусалимской конференции 1998 года, за ужином, как-то зашла речь об истории издания «Рассказов о Анне Ахматовой» (М.: Художественная литература, 1989) присутствовавшего тут же Анатолия Наймана. В частности, о том, как главный редактор издательства, небезызвестный Г. Анджапаридзе, возражал против включения в книгу ахматовского приговора Роберту Рождественскому:

Как может называть себя поэтом человек..., не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем?... На то ты и поэт, чтобы придумать достойный псевдоним.

Вспоминая об этом, Найман отметил, что коронный довод Анджапаридзе был вовсе не политический, а человеческий — нехорошо огорчать Рождественского. За столом эту аргументацию поддержала одна моя давняя знакомая (и героиня виньеток), вспомнившая, что Рождественский тогда тяжело болел. В ответ подала голос Катя: ну и что ж, что болел, — Ахматова к тому времени вообще уже двадцать лет, как умерла, а все рта

раскрыть не дадут. (Найман пробил-таки негуманное mot Ахматовой, но не без потерь — по-эзоповски переименовав поэта в Альберта Богоявленского; à la lettre Рождественский был прописан в этой связи в неподцензурных «Записках» Чуковской.)

Апелляция к справке от врача чем-то напомнила формулировку, услышанную от Анджапаридзе мной самим в 1988 году, когда он, только что возглавивший издательство «Художественная литература», приехал в составе делегации советских писателей (помню В. Розова, Т. Толстую, М. Жванецкого) в Штаты и выступал в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса. На вопрос из зала, собирается ли он издавать Солженицына, он ответил, в изящно англизированном ключе, что Солженицын is not his cup of tea, не его чашка чая.

Еще один пример подобной риторики был продемонстрирован и на одном из заседаний иерусалимской конференции. Открывая его, председательствующий (Д. М. Сегал) напомнил о необходимости соблюдать регламент, доклад столько-то минут, вопрос с места столько-то, выступление в прениях столько-то, после чего предоставил слово М. Л. Гаспарову. Пока тот поднимался на сцену, вперед выскочила моя давняя знакомая — с заявлением, что регламент дело хорошее, но иногда уместно сделать исключение, например, для такого докладчика, как Михаил Леонович. Гаспаров, однако, уложился в отведенное время с оскорбительной точностью.

Что же общего между этими тремя случаями, в чем инвариант? Прежде всего, бросается в глаза упор на малое, личное, особенное — в противовес некому категорическому общему императиву. Ахматова, может быть, и права, но надо пожалеть больного; Солженицын, может быть, и великий пророк, но имеет же издатель право на свои эксцентрические вкусы; регламент регламентом, но позаботимся о Михаиле Леоновиче, который заикается. Под защиту берется как бы нечто уязвимое, слабое (недаром в двух случаях речь идет о болезнях) и притом частное, а угрожает ему сильное, общественное, неумолимо-безличное. Но именно в этом благородном — как на сердобольный российский, так и на правовой западный вкус — посыле кроется главный демагогический ход. На самом деле, отстаивается не слабое, а сильное — советское цензурирование Ахматовой и Солженицына и всеми почитаемый академик, перебить которого

не придет в голову самому бездушному хронометристу. Конкретные подзащитные могут меняться, но в силе остается финт якобы гуманитарного протеста, а по сути — конформистского присоединения к властному статус-кво, с закономерно сопутствующим ему провозглашением морального релятивизма.

...В одной из ранних оттепельных статей в «Правде» проскользнула навсегда запомнившаяся фраза о Сталине — великом революционере, не лишенном, к сожалению, отдельных недостатков: «Личная трагедия Сталина состояла в его чрезмерной подозрительности...»

Подробности

Сидели вроде бы неплохо. Народ был в основном отборный, квартира — только что выменянная и стильно отремонтированная, стол — отменно накрытый хлебосольной хозяйкой. Как вдруг один из гостей, самый почетный, встает, выходит в переднюю и, как вскоре выясняется, вообще уходит, посетовав хозяину, в ответ на уговоры побыть еще, что — хозяин смакует цитату — «мало подробностей».

Он уходит, но загадка недоданных подробностей продолжает, выражаясь поэтически, подобьем смолкнувшего знака тревожить небосклон, трезубцем Скорпиона повиснув над оставшимися... И занимает меня до сих пор, полтора десятка лет спустя.

Ну, самый прямой смысл этого *apte dictum*, обидно прост: «Скучно!» Все, что произносилось за столом, Михаил Леонович, скорее всего, уже слышал, читал, записывал и выписывал — и не раз. Хотя гости, как я уже сказал, были не последнего разбора, — других бы Осповаты на Гаспарова и не позвали. Не исключаю, что немного подпортил дело я, приведя с собой — вот, не помню, с предварительного согласия хозяев или в порядке пощечины общественному вкусу — даму из слегка иной, менее, что ли, интеллектуальной, тусовки.

Но как раз это вряд ли могло так уж наскучить Гаспарову, скорее, даже наоборот. Поскольку второе, что приходит на ум при анализе его энигматической формулы, это что за столом, где всегда трудно поймать его подслеповатый взгляд, он, оказываясь, внимательно слушал и страстно ждал тех или иных, надо

полагать, компрометационных, подробностей (именно таким помню его на заключительном банкете иерусалимской конференции 1998 г.; http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/12/zh2.html). А мы их ему не предоставляли. Я дежурно пикировался с Тименчиком, но в рамках приличий, — с оглядкой на хозяйку, способную, как я знал, напрочь забанить не одобряемых ею коллег мужа. (Кажется, в конце концов эта судьба меня все-таки постигла.) Дама моя держалась тем более комично, цenia неожиданное попадание в высшие филологические сферы.

В общем, ничего такого особенного, something to write home about, не происходило, не сообщалось, не пробалтывалось. И МЛГ ничего не оставалось, как по-английски удалиться к своим рукописям и подсчетам. Впрочем, почему же по-английски? Его лаконичная, но тщательно отделанная реплика была как бы по секрету, но вполне внятно доведена до собравшихся и стала незабываемой подробностью вечера. О котором теперь есть, что рассказывать.

PERSONALIA

